



## I

Зала Итальянской оперы в Берлине, построенная в первые годы царствования Фридриха Великого, была в то время одной из самых красивых в Европе. Вход был бесплатный, ибо за все спектакли платил сам король. Для доступа в театр требовался, однако, билет, так как все ложи предназначались определенным лицам: одни — принцам и принцессам королевской фамилии, другие — членам дипломатического корпуса, знаменитым путешественникам, ученым из Академии, генералам. Итак, повсюду — члены семьи короля, придворные короля, лица, состоящие на жалованье у короля, фавориты короля. Впрочем, роптать не приходилось — ведь то был театр короля и артисты короля. Для добрых обитателей доброго города Берлина оставался лишь маленький кусочек партера, ибо большая часть его была занята военными, — каждый полк имел право присылать по несколько человек из каждой роты. И вот вместо веселой, легко воспламеняющейся и восприимчивой публики Парижа артисты видели перед собой «героев шести футов ростом», как называл их Вольтер, в высоченных шапках, причем большинство из них сажало себе на плечи своих жен. Все это вместе составляло неотесанную, пропахшую табаком и водкой толпу, которая ни слова не понимала, тарасила глаза и, не осмеливаясь ни аплодировать, ни свистеть из страха перед инструкцией, все-таки производила много шума, так как ни минуты не оставалась в покое.

Позади этих господ находились два ряда лож, откуда зрители ничего не видели и не слышали, но где они неизменно присутствовали, ибо приличия ради вынуждены были регулярно посещать спектакли, которые столь щедро преподносил им его величество король. Сам же король не пропускал ни одного спектакля. То был отличный способ всегда держать на виду многочисленных

членов своей семьи и беспокойный муравейник придворных. Фридрих следовал примеру отца, Вильгельма Толстого, который делал то же, но в плохо сколоченной зале, где, слушая плохих немецких комедиантов, королевское семейство и его двор умирали со скуки в зимние вечера и терпеливо мокли под дождем, пока сам король спал. Фридрих долго страдал от этой домашней тирании, он проклинал ее, он вынужден был ее выносить, но, едва успев стать властелином, восстановил этот обычай, как и многие другие, более деспотические и более жестокие, всю прелесть которых он оценил теперь, когда сделался единственным человеком в королевстве, переставшим от них страдать.

Однако сетовать никто не смел. Здание оперного театра было великолепно, отделка роскошна, артисты пели превосходно, и король, почти всегда стоявший у рампы, подле оркестра, с наведенным на сцену лорнетом, являл собой образец неутомимого меломана.

Всем известно, что Вольтер, вскоре после того, как он водворился в Берлине, восхвалял великолепие двора «Северного Соломона». Раздраженный пренебрежением Людовика XV, невниманием своей покровительницы — госпожи Помпадур, преследуемый иезуитами, освистанный во Французском театре, он уехал в минуту досады за почестями, за большим жалованьем, за титулом камергера, за орденом Почетного легиона и за дружбой короля-философа, еще более лестной в его глазах, чем все остальное. Словно большой ребенок, великий Вольтер дулся на Францию, воображая, будто неблагодарные соотечественники «лопнут с досады». И, как видно, он слегка охмелел от своей новой славы, когда писал друзьям, что Берлин не хуже Версаля, что опера «Фаэтон» — превосходнейшее зрелище, а у примадонны прекраснейший голос во всей Европе.

Однако в тот период, когда мы вновь начинаем наш рассказ (чтобы не утомлять память наших читательниц, скажем сразу, что со времени последних приключений Консуэло прошел почти год), зима оказалась в Берлине весьма суровой, великий король слегка приоткрыл свою истинную сущность и Вольтер успел порядком разочароваться в Пруссии. Он сидел в своей ложе между д'Аржансом и Ламеттри, уже не притворяясь, будто любит

музыку, которую никогда не чувствовал так сильно, как истинную поэзию. У него болел живот, и он с грустью вспоминал неблагоприятную, но пылкую публику парижских театров, чье неодобрение причиняло ему столько горя, чьи аплодисменты доставляли столько радости, — публику, соприкосновение с которой так сильно волновало его, что он поклялся никогда больше ее не видеть, хотя не мог помешать себе беспрестанно о ней думать и трудиться для нее не покладая рук.

А между тем сегодняшней спектакль был превосходен. Стояли дни карнавала, и все члены королевской семьи, даже маркграфы, нашедшие себе жен в глубине страны, собрались в Берлине. Давали «Тита» Метастазиио и Хассе, и обе заглавные роли исполнили двое лучших артистов итальянской труппы — Порпорино и Порпорина.

Если наши читательницы сообразоволят слегка напрячь память, они припомнят, что эти два действующих лица не являлись мужем и женой, как это можно было бы предположить по их псевдонимам. Нет, первый был синьор Уберти, обладатель изумительного *контральто*, а вторая Zingarella<sup>1</sup> Консуэло, замечательная певица, причем оба являлись учениками профессора Порпоры, который, по итальянскому обычаю того времени, позволил им носить славное имя их учителя.

Надо сознаться, что синьора Порпорина пела в Пруссии далеко не с тем подъемом, на какой она чувствовала себя способной в прежние, лучшие времена. В то время как чистое контральто ее партнера звонко раздавалось во всех уголках Берлинской оперы, оберегаемое всеми благами обеспеченной жизни, привычкой к неизменным успехам и постоянным жалованьем в пятнадцать тысяч ливров за два месяца работы, бедная цыганочка, быть может более пылкая и, уж конечно, более бескорыстная и менее приспособленная к ледяному холоду севера и прусских капралов, не чувствовала сейчас особого воодушевления и пела в той добросовестной, безупречной манере, которая не дает повода для порицания, но и не вызывает энтузиазма. Энтузиазм артистки и энтузиазм публики не могут не быть взаимны. Так вот, в дни слав-

---

<sup>1</sup> Цыганочка (*ит.*).

ного царствования Фридриха Великого энтузиазма в Берлине не было. Пунктуальность, повиновение и то, что в восемнадцатом столетии, и особенно при дворе Фридриха, называли *разумом*, — таковы были единственные добродетели, какие могли расцветать в этой атмосфере, температуру которой устанавливал король. Никто из собравшихся в этой зале не имел права вздохнуть или пошевелиться, если на то не было его высочайшего соизволения. Среди всего этого множества зрителей только один из них мог свободно отдаваться своим впечатлениям, и то был король. Публику олицетворял он один, и, хоть он был хорошим музыкантом, хоть он любил музыку, все его способности, все склонности были подчинены такой холодной логике, что королевский лорнет, словно прикованный ко всем жестам и ко всем переливам голоса певицы, не только не воодушевлял, а, напротив, совершенно парализовал ее.

Впрочем, для нее было даже лучше, что она повиновалась этому тягостному гипнозу. Малейшее проявление горячности, малейший порыв неожиданного вдохновения, по всей вероятности, шокировали бы и короля, и придворных, тогда как трудные и сложные рулады, исполняемые с четкостью безупречного механизма, приводили в восторг короля, придворных и Вольтера. Как известно, Вольтер говорил: «Итальянская музыка намного лучше французской, потому что она более сложна, а преодоленная трудность что-нибудь да значит». Так понимал искусство Вольтер. Подобно некоему остролову — он еще жив, — у которого спросили, любит ли он музыку, Вольтер мог бы ответить: «Она не слишком мне мешает».

Все шло прекрасно, и опера беспрепятственно двигалась к развязке. Король был весьма доволен и время от времени кивал капельмейстеру, выражая ему одобрение; он уже собирался начать аплодировать певице, заканчивавшей свою каватину, как милостиво делал это обычно, всегда воздавая ей должное, но тут, по какой-то необъяснимой прихоти случая, Порпорина посреди блестящей рулады, которая неизменно ей удавалась, внезапно умолкла, устремив странный взгляд в угол залы, стиснула руки и с криком: «О боже!» — упала без чувств на подмостки. Порпорино поспешил ее поднять, пришлось унести ее за

кулисы, а в зале раздался шум — вопросы, предположения, догадки. В разгаре этой суматохи король громко окликнул тенора, который еще оставался на сцене.

— Что все это значит, Кончолини? Что с ней такое? — спросил он властным и резким голосом, перебивавшим шум толпы. — Идите взгляните на нее, да поживее!

Через несколько секунд Кончолини вернулся и, почтительно перегнувшись через рампу, на которую облокотился король, сообщил:

— Ваше величество, синьора Порпорина лежит как мертвая. Боюсь, что она не сможет закончить спектакль.

— Полноте! — сказал король, пожимая плечами. — Пусть ей дадут стакан воды, пусть принесут понюхать чего-нибудь, и поскорее кончайте эту историю.

Певец, не имевший ни малейшей охоты рассердить короля и испытать на себе в присутствии публики вспышку его гнева, снова, как крыса, улепетнул за кулисы, а король раздраженно заговорил о чем-то с капельмейстером и с музыкантами, меж тем как часть публики, которую дурное настроение короля интересовало значительно больше, нежели бедная Порпорина, прилагала невероятные, но бесплодные усилия уловить слова монарха.

Барон фон Пельниц, обер-камергер короля и директор его театра, вскоре вернулся и доложил Фридриху, как обстоит дело. В театре Фридриха не было той атмосферы торжественности, какая могла бы быть, если бы публика чувствовала себя независимой и влиятельной. Король повсюду был у себя дома, спектакль принадлежал ему и шел для него одного. Поэтому никого не удивило, что главным действующим лицом этой неожиданной интермедии сделался он.

— Послушайте, барон, — говорил он довольно громко, не обращая внимания на то, что его слышала часть оркестра, — скоро ли это кончится? Ведь это просто смешно! Неужели там, за кулисами, у вас нет доктора? Вы обязаны постоянно держать доктора в театре.

— Ваше величество, доктор здесь. Он не решается пустить певице кровь, так как опасается, что от этого она ослабеет и не сможет играть дальше. Но ему все-таки придется прибегнуть к кровопусканию, если она не придет в чувство.

— Так, стало быть, это серьезно? Она не притворяется?

— Ваше величество, на мой взгляд, это очень серьезно.

— В таком случае велите опустить занавес, и разоидемся по домам. Впрочем, пусть Порпорино споет нам что-нибудь взамен, чтобы мы не ушли под этим тяжелым впечатлением.

Порпорино повиновался и превосходно спел две вещицы. Король похлопал ему, публика сделала то же, и представление окончилось. Зрители стали расходиться, а король в сопровождении Пельница прошел за кулисы, в уборную примадонны.

Когда актрисе становится дурно во время исполнения роли, далеко не вся публика сочувствует ее беде; сколько бы любитель музыки ни обожал своего кумира, к его жалости всегда примешивается такая доля эгоизма, что он куда более огорчен потерей собственного удовольствия, нежели страданиями и тревогами самой жертвы. Некоторые чувствительные женщины, как говорили в то время, оплакивали сегодняшней несчастный случай следующим образом:

— Бедняжка! Должно быть, она только собралась начать трель, как вдруг у нее запершило в горле, и, побоявшись не вытянуть ее, она предпочла упасть в обморок.

— А мне кажется, она не притворялась, — сказала другая дама, еще более чувствительная. — Люди не падают наземь с такой силой, если не больны по-настоящему.

— Ах, почем знать, моя милая? — подхватила первая. — Хорошая актриса умеет падать как ей вздумается: она не боится причинить себе немножко боли. Ведь это так нравится публике!

— Что такое стряслось сегодня с этой Порпориной? — спрашивал Ламеттри маркиза д'Аржанса в другом конце вестибюля, где толпились, уходя, великосветские зрители. — Уж не поколотил ли ее любовник?

— Не говорите так о прелестной, добродетельной девушке, — возразил маркиз. — У нее нет любовника, а если бы даже и был, то она никогда не заслужит с его стороны подобного оскорбления, разве только он последний негодяй.

— Ах, простите, маркиз! Я и забыл, что говорю с доблестным защитником всех актрис театра — бывших,

настоящих и будущих! Кстати, как поживает мадемуазель Кошуа?

— Дорогая моя, — говорила в это же самое время, сидя в карете, принцесса Амалия Прусская, сестра короля, аббатиса Кведлинбургская, постоянной своей наперснице, прекрасной графине фон Клейст, — заметила ли ты, как волновался брат во время сегодняшнего приключения?

— Нет, принцесса, — ответила госпожа Мопертюи, старшая домоправительница принцессы, добрейшая, но весьма недалекая и весьма рассеянная особа, — я ничего не заметила.

— Да не с тобой говорят, — ответила принцесса тем резким и решительным тоном, какой придавал ей иногда такое сходство с братом. — Где тебе что-нибудь заметить! Лучше посмотри-ка на небо и сосчитай, сколько там сейчас звезд. Мне надо кое-что сказать графине фон Клейст, и я не хочу, чтобы ты нас слышала.

Госпожа де Мопертюи добросовестно заткнула уши, а принцесса, наклонясь к сидевшей напротив госпоже фон Клейст, продолжала:

— Говори что угодно, а по-моему, впервые за пятнадцать или даже за двадцать лет, словом, с тех пор как я научилась наблюдать и понимать, король влюблен.

— Ваше королевское высочество говорили то же самое в прошлом году по поводу мадемуазель Барберини, а его величество король и не думал в нее влюбляться.

— Не думал! Ошибаешься, деточка. Так много думал, что, когда молодой канцлер Коччеи женился на ней, брат целых три дня злился, как никогда в жизни, хотя и скрывал это.

— Но ведь вашему высочеству хорошо известно, что его величество терпеть не может неравных браков.

— Да, то есть браков по любви — ведь это называется так. Неравный брак! Какие громкие слова, бессмысленные, как все громкие слова, которые управляют светским обществом и тиранят человека.

Принцесса испустила глубокий вздох и вдруг, со свойственной ей быстротой меняя тему разговора, насмешливо и раздраженно сказала старшей домоправительнице:

— Мопертюи, ты слушаешь нас, а не смотришь на небесные светила, как я тебе приказала. Стоило ли вы-



ходить замуж за такого ученого человека, чтобы потом слушать болтовню двух сумасбродок вроде фон Клейст и меня!.. Так вот, — продолжала она, обращаясь к своей любимице, — король и в самом деле чуть-чуть любил эту Барберини. Я знаю из верного источника, что часто после театра он заходил к ней выпить чашку чаю вместе с Жорданом и Шазолем и даже что она не раз бывала на ужинах в Сан-Суси, а до нее такое событие было невысказано в жизни Потсдама. Если хочешь, я скажу тебе больше. Она жила там в отведенных ей апартаментах неделями, а может быть, и месяцами. Как видишь, я довольно недурно знаю то, что происходит, и таинственный вид моего брата меня нисколько не обманывает.

— Раз вашему королевскому высочеству так хорошо все известно, вы знаете и то, что по причинам... государственного порядка, о которых мне не подобает догадываться, королю иногда угодно бывает внушать окружающим мнение, будто он не так уж суров, как предполагают, хотя в действительности...

— Хотя в действительности брат никогда не любил ни одну женщину, даже и собственную жену, — ведь так? А я не верю в его пресловутую добродетель и еще меньше — в его холодность. Фридрих всегда был лицемером. Но он никогда не заставит меня поверить, будто мадемуазель Барберини подолгу жила у него во дворце единственно для того, чтобы ее считали его любовницей. Она красива как ангел и умна как дьявол, хорошо образована и говорит не знаю уж на скольких языках.

— Она порядочная женщина и обожает своего мужа.

— А муж обожает ее — тем более что это чудовищный мезальянс, не так ли, фон Клейст? Ага, ты не отвечаешь? Уж не задумала ли и ты сама, благородная вдова, другой мезальянс с каким-нибудь бедным пажом или жалким бакалавром?

— А вашему высочеству хотелось бы увидеть еще один мезальянс — мезальянс сердца — между королем и какой-нибудь девицей из Оперы?

— Ах, будь то Порпорина, эта связь была бы более вероятна, а дистанция меньше пугала бы меня. Мне кажется, на сцене, как и при дворе, существует определенная иерархия: ведь этот предрассудок — выдумка и болезнь человеческого рода. Певица ценится значительно

выше, нежели танцовщица. К тому же говорят, что эта Порпорина еще более умна, образованна, воспитанна, мила и, наконец, что она знает даже больше разных языков, чем Барберини. А ведь желание уметь говорить на тех языках, которых он не знает, — это мания моего брата. И потом, музыка, которую он якобы так любит, хотя в действительности ему нет до нее дела... Понимаешь? Вот еще одна точка соприкосновения с нашей примадонной. И ведь она тоже ездит летом в Потсдам, занимает те же самые апартаменты, которые занимала в новом Сан-Суси Барберини, поет на интимных концертах короля... Разве всего этого мало, чтобы подтвердить мою догадку?

— Напрасно ваше высочество льстит себя надеждой обнаружить какую-нибудь слабость в жизни нашего великого короля. Все это делается слишком явно и слишком обдуманно, чтобы можно было заподозрить тут хоть самую малость любви.

— Не любви, нет; Фридрих не знает, что такое любовь. Но быть может, тут увлечение, интрижка. Ты не станешь отрицать, что об этом шепчутся решительно все.

— Да, но никто этому не верит. Все думают, что король, стремясь рассеять скуку, пытается развлечься, слушая болтовню и красивые рулады актрисы, но что после четверти часа такой болтовни и рулад он говорит ей, как сказал бы любому из своих секретарей: «На сегодня хватит. Если мне захочется послушать вас завтра, я дам вам знать».

— Да, не слишком любезно. Если именно так он ухаживал за госпожой де Коччей, то неудивительно, что она его не выносила. А эта Порпорина ведет себя с ним так же нелюбезно?

— Говорят, она необыкновенно скромна, благовоспитанна, робка и печальна.

— О, это лучший способ понравиться королю! Как видно, она хитрая особа! Ах, если бы так! И если бы можно было довериться ей!

— Умоляю вас, принцесса, никому не доверяйтесь — даже госпоже Мопертюи, которая спит сейчас таким крепким сном.

— Пусть ее храпит. Спит она или бодрствует — одинаково глупа... Так вот, фон Клейст, мне бы хотелось

познакомиться с этой Порпориной и узнать, может ли она быть мне чем-нибудь полезна. Очень жаль, что я не согласилась принять ее, когда король предлагал привезти ее ко мне как-то утром, чтобы я послушала ее пение: знаешь, я почему-то была предубеждена против нее.

— И разумеется, напрасно. Ведь нельзя же было предположить, что...

— Ах, будь что будет! Горе и отчаяние так истерзали меня за последний год, что все второстепенные заботы уже исчезли. Я хочу видеть эту девушку. Как знать, а вдруг она сможет добиться от короля того, о чем мы тщетно его умоляем? Вот уже несколько дней, как я думаю об этом; и сегодня — ты ведь знаешь, что я не могу думать ни о чем другом, — итак, сегодня, увидев, как встревожил и испугал Фридриха ее обморок, я утвердилась в мысли, что якорь спасения — это именно она.

— Берегитесь, ваше высочество... Опасность очень велика.

— Ты всегда твердишь одно и то же. Я еще более подозрительна и осторожна, чем ты. И все-таки надо поразмыслить об этом. Проснись, моя милая Мопертю, мы приехали.

## II

В то время, как молодая и красивая аббатиса<sup>1</sup> занималась этой беседой, сам король без стука входил в уборную Порпорины, начинавшей уже приходиться в себя.

— Ну что, мадемуазель, — сказал он ей не слишком сочувственным и даже не слишком вежливым тоном, — как вы себя чувствуете?.. Вы, оказывается, подвержены подобным припадкам? При вашей профессии это весьма неудобно. Может быть, у вас была какая-нибудь неприятность? Неужели вы так больны, что не можете даже

---

<sup>1</sup> Известно, что Фридрих раздавал аббатства, каноникаты и епископства своим фаворитам, офицерам и родственникам-протестантам. Принцесса Амалия, упорно отказывавшаяся от замужества, получила от него в дар аббатство Кведлинбургское, дававшее сто тысяч ливров дохода, и носила звание аббатисы подобно католическим настоятельницам. (*Прим. автора.*)

ответить мне? Тогда отвечайте вы, сударь, — сказал он врачу, который суетился возле певицы. — Она действительно больна?

— Да, государь, — ответил врач, — пульс едва прощупывается. Кровообращение нарушено, и все жизненные функции как бы приостановлены. Кожный покров похолодел.

— В самом деле, — сказал король, взяв руку молодой девушки. — Взгляд остановился, губы побледнели. Дайте ей выпить гофманских капель, черт побери! Я опасался, что это притворство, но вижу, что ошибся. Девушка тяжело больна. Она не зла и не капризна, вы согласны со мной, господин Порпорино? Может быть, кто-нибудь огорчил ее нынче? У нее ведь не может быть врагов, правда?

— Государь, это не актриса, — ответил Порпорино, — это ангел.

— Ни больше ни меньше! Уж не влюблены ли вы в нее?

— Нет, государь, я питаю к ней безграничное уважение и люблю, как сестру.

— Благодаря вам обоим и Богу, который перестал проклинать актеров, мой театр скоро превратится в школу добродетели. Ага, вот она приходит в себя. Порпорино, вы не узнаете меня?

— Нет, сударь, — ответила Порпорино, растерянно глядя на короля, который легонько ударял ее по рукам.

— Кажется, она бредит, — сказал король. — Вы никогда не замечали у нее приступов эпилепсии?

— О нет, ваше величество, никогда! Это было бы ужасно, — ответил Порпорино, задетый бесцеремонностью, с какою король говорил о замечательной актрисе.

— Нет-нет, не пускайте ей кровь, — сказал король, отталкивая врача, который собирался вооружиться ланцетом. — Я не могу спокойно видеть, как льется невинная кровь, когда это происходит не на поле битвы. Вы, лекари, не воины — вы просто убийцы! Оставьте ее в покое. Дайте ей воздуху. Порпорино, не позволяйте пускать ей кровь — это может ее убить. Ведь эти господа ни перед чем не останавливаются. Поручаю ее вам, Пельниц! Отвезите ее домой в своей карете. Вы отвечаете мне за нее. Это самая великолепная певица из тех, что были у нас до сих пор, и нам не скоро удастся найти такую же. Кстати, а что вы споете мне завтра, Кончолини?

Спускаясь с лестницы театра вместе с тенором, он говорил уже о другом, затем отправился ужинать во дворец, где в столовой уже сидели Вольтер, Ламеттри, д'Аржанс, Альгаротти и генерал Квинт Ицилий.

Фридрих был жесток и глубоко эгоистичен. При всем том он бывал порой великодушен и добр, а иной раз даже нежен и отзывчив. И это отнюдь не парадокс. Все знают страшный и в то же время пленительный характер этого многогранного человека, эту сложную натуру, которая была полна противоречий, как у всех сильных людей, если они к тому же облечены неограниченной властью и ведут бурную жизнь, способствующую развитию всех их недостатков и достоинств.

За ужином, поддерживая язвительно-остроумную, пересыпанную тонкими, а иногда и грубоватыми шутками беседу с этими милыми друзьями, которых он совсем не любил, с этими умными людьми, которыми он отнюдь не восхищался, Фридрих внезапно впал в задумчивость и после нескольких минут молчания сказал, вставая из-за стола:

— Продолжайте беседу, я слушаю вас.

С этими словами он уходит в соседнюю комнату, берет шляпу и шпагу, делает пажу знак следовать за собой и исчезает в глубине длинных коридоров и потайных лестниц своего старого дворца, меж тем как гости, полагая, что он находится где-то поблизости, по-прежнему взвешивают каждое слово и не осмеливаются сказать друг другу ничего такого, чего бы не мог слышать король. Впрочем, все они до такой степени (и не без основания) не доверяли друг другу, что в любом уголке прусской земли ощущали реявший над ними призрак грозного и коварного Фридриха.

Ламеттри — врач, с которым король почти никогда не советовался, и чтец, которого он почти никогда не слушал, — был единственным, кто не знал страха и никому его не внушал. Все считали его совершенно безобидным, а он нашел средство сделаться совершенно неуязвимым. Средство было таково: он говорил в присутствии короля такие дерзости и совершал такие безрассудства, что ни один враг, ни один доносчик не смог бы обвинить его в проступке, который он сам не проделал бы на глазах у короля с величайшей смелостью и совершенно открыто.

Казалось, он понимал буквально те софизмы о всеобщем равенстве, которыми якобы руководствовался король в узком кругу семи или восьми человек, удостоившихся его близости. В эту пору, после десятка лет царствования, Фридрих, человек еще молодой, не совсем утратил снискавшую ему расположение народа приветливость обращения, какой отличался наследный принц, дерзкий философ Ремусберга. Люди, хорошо его знавшие, и не думали доверять этой приветливости. Вольтер, самый избалованный из всех и прибывший сюда последним, уже начинал, однако, тревожиться, замечая, как из-под маски доброго государя проглядывает тиран, а из-под маски Марка Аврелия — Дионисий. Ламеттри (что это было — беспримерная искренность, тонкий расчет или дерзкая беспечность?) вел себя с королем так бесцеремонно, как того якобы желал сам король. Он снимал в его апартаментах галстук, парик, чуть ли не башмаки, лежал, развалиясь, на его кушетках, не стесняясь высказывал ему свои мысли, при всех противоречил ему, не задумываясь объявлял пустяками такие вещи, как королевская власть, религия и все прочие «предрассудки», в которых пробил брешь «свет разума» сегодняшнего дня. Словом, он вел себя как настоящий циник и подавал столько поводов для немилости и удаления, что казалось просто чудом, как это он все еще стоит на ногах, в то время как столько других давно опрокинуты и раздавлены из-за куда менее значительных провинностей. Дело в том, что на подозрительные, недоверчивые натуры — а именно таков был Фридрих — какая-нибудь неосторожная фраза, подслушанная и переданная шпионом, малейшее подозрение в лицемерии действуют сильнее, нежели тысяча необдуманных поступков. Фридрих считал Ламеттри настоящим безумцем и нередко поражался, говоря про себя:

«Ну и скотина! Его бесстыдство превосходит все границы».

Но тут же добавлял:

«Зато это человек искренний, не двоедушный, не двуличный. Он не способен злословить исподтишка, раз высказывает свою злобу прямо мне в лицо. Вот другие пресмыкаются передо мной, но кто знает, что они говорят и думают, когда я поворачиваюсь к ним спиной и они встают во весь рост? Стало быть, Ламеттри — чест-

нейший из всех моих придворных, и я должен выносить его, хоть он и невыносим».

Так шло и дальше. Ламеттри уже не мог рассердить короля и даже ухитрялся рассмешить Фридриха такими шутками, каких тот не простил бы никому другому. В то время как Вольтер с самого начала вступил на путь неумеренного славословия, которое начинало уже тяготить его самого, циник Ламеттри вел себя по-прежнему, приятно проводил время, чувствуя себя с Фридрихом так же непринужденно, как с первым встречным, и ему не приходилось проклинать и ниспровергать кумира, которому он никогда ничем не жертвовал и ничего не обещал. Именно поэтому Фридрих, начавший уже скучать в обществе Вольтера, по-прежнему веселился, дружески беседуя с Ламеттри, и не мог без него обойтись: ведь это был единственный человек, не притворявшийся, что ему весело в обществе короля.

Маркиз д'Аржанс состоял в должности камергера с окладом в шесть тысяч франков (обер-камергер Вольтер получал двадцать тысяч). То был легкомысленный философ, способный, но поверхностный литератор, истинный француз своего времени, добрый, ветреный, распутный, чувствительный, храбрый и в то же время изнеженный, остроумный, великодушный и насмешливый; человек неопределенного возраста, мечтательный, как юноша, и склонный к скептицизму, как старик, он всю свою молодость отдал актрисам, то обманывая их, то будучи обманут сам, без памяти влюблялся в каждую и в конце концов тайно женился на мадемуазель Кошуа, лучшей актрисе Французской комедии в Берлине, особе некрасивой, но умной, которой ему вздумалось дать образование. Фридрих еще не знал об этом тайном союзе, и д'Аржанс остерегался говорить о нем тем, кто мог его выдать. Вольтер, однако, был посвящен в тайну. Д'Аржанс искренно любил короля, но тот любил его не больше, чем всех остальных. Фридрих не верил в чью бы то ни было привязанность, и бедный д'Аржанс оказывался то соучастником, то мишенью самых жестоких его шуток.

Известно, что полковник, которого Фридрих наградил высокопарным прозвищем Квинта Ицилия, был попросту француз Гишар, неутомимый воин и ученый стратег, а впрочем, изрядный мошенник, как все люди такого толка, и царедворец в полном смысле этого слова.

Чтобы не утомлять читателя длинным перечнем исторических лиц, не будем говорить об Альгаротти. Расскажем только, как вели себя гости Фридриха в его отсутствие. Впрочем, мы уже упомянули, что они не только не освободились от угнетавшего их тайного смущения, а, напротив, почувствовали себя еще хуже и при каждом слове поглядывали на полуоткрытую дверь, в которую вышел король и за которой он, быть может, наблюдал за ними.

Исключением оказался один Ламеттри. Заметив, что в отсутствие короля им стали небрежно прислуживать за столом, он вскричал:

— Что же это такое, черт побери! По-моему, со стороны хозяина крайне неучтиво оставлять нас без слуг и без шампанского. Пойду взгляну, там ли он, и выскажу ему свое неудовольствие.

Он встал, вошел, не побоявшись быть нескромным, в опочивальню короля и тотчас вернулся с возгласом:

— Никого! Нет, как вам это понравится? Ничуть не удивлюсь, если окажется, что он сел на коня и совершает при свете факелов прогулку, чтобы ускорить процесс пишеварения. Вот чудак!

— Сами вы чудак! — ответил Квинт Ицилий, который никак не мог привыкнуть к странному поведению Ламеттри.

— Так, стало быть, король ушел? — спросил Вольтер, вздохнув свободнее.

— Да, король ушел, — сказал, входя в комнату, барон фон Пельниц. — Я только что встретил его на заднем дворике в сопровождении одного-единственного пажа. Он был в сером плаще, который всегда надевает, когда хочет, чтобы его не узнали, и разумеется, я его не узнал.

Мы должны сказать несколько слов о третьем камергере — новом госте, только что вошедшем в столовую, — не то читатель не поймет, каким образом кто-либо, кроме Ламеттри, посмел столь дерзко отозваться о властелине. Пельниц, чей возраст был так же загадочен, как размер его содержания и его обязанности, был тот самый прусский барон, тот светский развратник времен регентства, который в молодости блистал при дворе графини Пфальцской — матери герцога Орлеанского, — тот самый неистовый игрок, чьи долги уже отказался платить



пруссский король, тот авантюрист крупного масштаба, циничный и распутный, весьма склонный к наущничеству и немного мошенник, тот наглый царедворец, которого держал на привязи, кормил, презирал, осыпал насмешками и весьма скупно оплачивал его хозяин. И все-таки этот хозяин не мог без него обойтись, ибо всякий неограниченный властелин ощущает потребность иметь под рукой человека, который способен на любую подлость, ибо находит в этом некоторое возмещение своих собственных унижений и смысл своего существования. Вдобавок Пельниц состоял в то время директором театров его величества, своего рода главным распорядителем придворных увеселений. Его тогда уже называли стариком Пельницем, как называли тридцать лет спустя. Это был вечный царедворец — ведь некогда он был пажом покойного короля. Утонченный разврат в духе регентства сочетался в нем с грубым цинизмом Табачной коллегии Вильгельма Толстого и с дерзкой непреклонностью царствования Фридриха Великого, отмеченного остроумием и военщиной. Так как единственной милостью со стороны последнего была постоянная опала, Пельниц не слишком боялся ее потерять, тем более что роль наемного подстрекателя, которую он неизменно играл, действительно делала его неуязвимым для чьих бы то ни было наветов в глазах повелителя, чьи поручения он выполнял.

— Черт побери! — вскричал Ламеттри. — Надо бы вам, милейший барон, пойти следом за королем, а потом прийти сюда и рассказать нам его приключения. Вот бы мы помучили его потом — получилось бы так, словно мы, не вставая из-за стола, видели, где он был и что делал.

— Или лучше того, — со смехом подхватил Пельниц, — сказали бы ему об этом только завтра, а свою прозорливость приписали бы чародею.

— Что это еще за чародей? — спросил Вольтер.

— Знаменитый граф де Сен-Жермен. Нынче утром он появился в Берлине.

— Вот как! Интересно бы узнать, кто он — шарлатан или сумасшедший?

— Это нелегкое дело, — ответил Ламеттри. — Он так искусно скрывает свою игру, что никто не может сказать про него ничего определенного.

— Видно, не такой уж он сумасшедший! — вставил Альгаротти.

— Поговорим о Фридрихе, — сказал Ламеттри. — Мне хочется какой-нибудь занятной историей возбудить его любопытство, а он в награду угостит нас Сен-Жерменом и его допотопными приключениями. Это будет очень забавно. Но где же все-таки сейчас наш монарх? Барон, вы знаете, где он! Вы чересчур любопытны и, конечно, проследили за ним или чересчур хитры и уже давно обо всем догадались.

— Если угодно, я готов рассказать... — начал Пельниц.

— Надеюсь, сударь, — побагровев от негодования, вмешался Квинт, — что вы не станете отвечать на странные вопросы Ламеттри. Если его величество...

— Ах, милейший, — перебил его Ламеттри, — с десяти часов вечера до двух утра здесь нет никакого величества. Фридрих установил это раз навсегда, и я знаю лишь один закон: «За ужином король не существует». Да разве вы не видите, что бедняга-король скучает, и разве вы, плохой слуга и плохой друг, не хотите хотя бы в отрадные ночные часы помочь ему забыть о гнете его величия? Ну, Пельниц, ну, добрый барон, скажите же нам, где сейчас король?

— Я не желаю этого знать! — заявил Квинт, выходя из-за стола.

— Как хотите, — сказал Пельниц. — Пусть те, кто не желает слушать, заткнут уши!

— Я весь превратился в слух, — сказал Ламеттри.

— Я тоже, черт побери, — смеясь сказал Альгаротти.

— Господа, — проговорил Пельниц. — Его величество находится сейчас у синьоры Порпорины.

— Да вы просто морочите нас! — вскричал Ламеттри. И добавил латинскую фразу, которую я не могу перевести, так как не знаю латыни.

Квинт Ицилий побледнел и вышел. Альгаротти прочитал вслух итальянский сонет, который тоже остался для меня не вполне понятным. А Вольтер тут же сочинил четверостишие, сравнивая Фридриха с Юлием Цезарем. После чего три ученых мужа с улыбкой переглянулись, а Пельниц повторил с серьезным видом:

— Даю вам честное слово, что король сейчас у Порпорины.

— Не могли бы вы преподнести нам что-нибудь другое? — сказал д'Аржанс, который был недоволен этим разговором, ибо не принадлежал к числу людей, выдающих чужие тайны, чтобы поднять свой авторитет.

Пельниц нимало не смутился.

— Тысяча чертей, господин маркиз! Когда король говорит, что вы находитесь у мадемуазель Кошуа, мы и не думаем возмущаться. Почему же вас так возмущает тот факт, что король находится у мадемуазель Порпорины?

— Напротив, он мог бы стать для вас весьма поучительным, — возразил Альгаротти, — и если это правда, я поеду сообщить об этом в Рим.

— Его святейшество любит *позубоскалить*, — добавил Вольтер, — и он отпустит на этот счет какую-нибудь забавную шутку.

— Над чем это будет *зубоскалить* его святейшество? — спросил король, неожиданно появляясь в дверях столовой.

— Над любовными похождениями Фридриха Великого и Порпорины из Венеции, — дерзко ответил Ламеттри.

Король побледнел и бросил грозный взгляд на своих гостей; гости тоже побледнели — кто больше, кто меньше, — все, за исключением Ламеттри.

— Ничего не поделаешь, — спокойно заявил Ламеттри. — Сегодня вечером в театре господин де Сен-Жермен предсказал, что в тот час, когда Сатурн пройдет между Львом и Девой, его величество, в сопровождении пажа...

— Что же он такое, этот граф де Сен-Жермен? — спросил король, невозмутимо садясь за стол и протягивая свой стакан Ламеттри, чтобы тот налил ему шампанского.

Все заговорили о Сен-Жермене, и буря рассеялась, так и не разразившись. В первую минуту наглость Пельница, который его предал, и смелость Ламеттри, который осмелился сказать это вслух, преисполнили короля гневом, но Ламеттри еще не успел закончить фразу, как Фридрих вспомнил, что сам поручил Пельницу при первом удобном случае затеять разговор на известную тему и послушать, что будут говорить другие. Поэтому он тут же овладел собой с той необычайной непринужденно-

стью и легкостью, какие были присущи ему одному, и никто больше не упомянул и словом о его ночной прогулке. Ламеттри, конечно, не побоялся бы снова о ней заговорить, но мысли его немедленно приняли иное направление, которое предложил король. Так Фридрих часто побеждал даже Ламеттри, обращаясь с ним как с ребенком, который вот-вот разобьет зеркало или выпрыгнет из окна, если не отвлечь его от этого каприза какой-нибудь игрушкой. Каждый высказал свое мнение о знаменитом графе де Сен-Жермене, каждый рассказал свой анекдот. Пельниц заявил, будто встречался с графом во Франции двадцать лет назад.

— И когда я увидел его сегодня утром, — добавил он, — мне показалось, что мы расстались только вчера, — он ничуть не постарел. Помнится, как-то вечером во Франции, когда речь зашла о страстях Господа нашего Иисуса Христа, он вдруг воскликнул с самой забавной серьезностью: «Ведь говорил же я ему, что его ждет плохой конец у этих злых иудеев. Я даже предсказал ему почти все, что с ним произошло впоследствии, но он не пожелал меня слушать — рвение заставляло его презирать любую опасность. Его трагическая гибель вызвала у меня такую скорбь, что я никогда не утешусь и до сих пор не могу думать о нем без слез». Тут этот проклятый граф и в самом деле заплакал, и все мы тоже готовы были пролить слезу.

— Вы такой примерный христианин, — сказал король, — что меня это несколько не удивляет.

Пельниц три или четыре раза внезапно менял религию ради выгодных должностей, которыми король его соблазнял, желая поразвлечься.

— Ваша история давно всем известна, — сказал д'Аржанс барону, — это просто выдумка. Я слышал кое-что получше. Нет, в моих глазах граф де Сен-Жермен интересен и замечателен тем, что у него есть множество совершенно новых и остроумных суждений об исторических событиях, оставшихся для нас неясными и загадочными. По слухам, о каком бы предмете, о какой бы эпохе с ним ни заговорили, он поражает собеседника своими познаниями или умением тут же привести множество вполне правдоподобных и интересных суждений, проливающих новый свет на самые таинственные факты.

— Если эти суждения действительно правдоподобны, — заметил Альгаротти, — значит, он человек необыкновенно образованный и обладает к тому же поразительной памятью.

— Более того! — сказал король. — Одного образования недостаточно, чтобы объяснять историю. Очевидно, этот человек наделен могучим умом и глубоким знанием человеческого сердца. Интересно бы узнать, какой порок искалечил эту прекрасную натуру, — желание ли сыграть исключительную роль, приписать себе бессмертие и память о событиях, которые предшествовали существованию этого человека, или он просто заболел навязчивой идеей вследствие глубоких размышлений и длительных научных занятий?

— Могу поручиться перед вашим величеством хотя бы в одном, — сказал Пельниц, — в искренности и скромности нашего героя. Граф крайне неохотно рассказывает о чудесных событиях, коих, как ему кажется, он был свидетелем. Ему стало известно, что его считают фантазером, шарлатаном, и, видимо, это очень ему неприятно, так как теперь он отказывается обнаружить свое сверхъестественное могущество.

— Скажите, государь, разве вы не умираете от желания увидеть и услышать его? — спросил Ламеттри. — Я просто сгораю от нетерпения.

— Неужели такие вещи могут вас интересовать? — возразил король. — Зрелище безумия далеко не забавно.

— Согласен, если это действительно безумие. Ну а если нет?

— Вы слышите, господа? — сказал король. — Человек, который ни во что не верит, закоренелый атеист, увлекается чудесами и уже готов поверить в бессмертие господина де Сен-Жермена! Впрочем, это неудивительно — ведь все знают, что Ламеттри боится смерти, грома и привидений.

— Не отрицаю, бояться привидений действительно глупо, — сказал Ламеттри, — но что касается грома и всего, что может стать причиной смерти, — тут мои страхи вполне обоснованны и разумны. Чего же нам бояться, черт побери, если не того, что может угрожать безопасности нашей жизни?

— Да здравствует Панург! — воскликнул Вольтер.

— Возвращаюсь к Сен-Жермену, — снова начал Ламеттри. — Мессиру Пантагрюэлю следовало бы завтра же пригласить его отужинать с нами.

— Ни в коем случае, — возразил король. — Вы и без того не совсем в своем уме, мой бедный друг. Стоит Сен-Жермену появиться у меня в доме, как все суеверные лица — а их так много вокруг нас — мигом придумают сотню небылиц и разнесут их по всей Европе. Нет, нам нужен разум, дорогой Вольтер. О, разум, да придет царствие твое! Вот молитва, которую мы должны повторять каждый вечер и каждое утро.

— Разум, разум! — сказал Ламеттри. — Я нахожу его удобным и приятным, когда он помогает мне оправдать и узаконить мои страсти, пороки... мои желания, назовите это как хотите! Но когда он мне докучает, я хочу иметь право выставить его за дверь. Мне не нужен такой разум — черт бы его побрал! — который заставляет меня притворяться храбрецом, когда мне страшно, стойком, когда мне больно, смиренным, когда я вне себя от гнева... Плевать мне на такой разум, я его не признаю. Это какое-то чудовище, химера, изобретенная старыми болтунами античности, которыми все вы так восхищаетесь неизвестно почему. Пусть царствие его не придет никогда! Я не поклонник неограниченной власти, в чем бы она ни проявлялась, и если бы кому-нибудь вздумалось принудить меня не верить в Бога — а я не верую добровольно и совершенно искренно, — пожалуй, я бы тотчас отправился на исповедь, просто из духа противоречия.

— О, как известно, вы способны на все, — сказал д'Аржанс, — даже на то, чтобы уверовать в философский камень графа де Сен-Жермена.

— А почему бы нет? Это было бы так приятно и так пригodiлось бы мне!

— Философский камень! — вскричал Пельниц, потряхивая своими пустыми, беззвучными карманами и выразительно глядя на короля. — О да, пусть придет царствие его, и поскорей! Такую молитву я готов читать каждое утро и каждый вечер...

— Ах, вот оно что! — перебил его Фридрих, который всегда был глух к подобным намекам. — Стало быть, ваш Сен-Жермен причастен также и к искусству делать золото? Этого я не знал!

— Так позвольте же мне от вашего имени пригласить его к ужину на завтра, — сказал Ламеттри. — Думаю, что и вам не мешало бы проникнуть в его тайну, господин Гаргантюа. У вас большие потребности и гигантские аппетиты — и как у короля, и как у преобразователя.

— Замолчи, Панург, — ответил Фридрих. — Отныне твой Сен-Жермен разоблачен. Это дерзкий обманщик, и я прикажу установить за ним бдительный надзор, ибо нам известно, что люди, владеющие этим прекрасным искусством, обычно вывозят из страны больше золота, нежели оставляют в ней. Разве вы уже успели забыть, господа, знаменитого чародея Калиостро, которого я велел выгнать из Берлина не более шести месяцев назад?

— И который увез у меня сотню экю, — подхватил Ламеттри. — Пусть дьявол отнимет их у него!

— Он увез бы их и у Пельница, если бы только они у него были, — добавил д'Аржанс.

— Вы прогнали его, — сказал Фридриху Ламеттри, — а он отплатил вам недурной шуткой.

— Какой?

— Ах, вы ничего не знаете? Так я угощу вас одним рассказом.

— Главное достоинство всякого рассказа — его краткость, — заметил король.

— Мой заключается в двух словах. Всем известно, что в тот день, когда ваше пантагрюэльское величество приказали великому Калиостро убираться восвояси вместе с его кубами, ретортами, привидениями и дьяволами, в тот самый день, ровно в двенадцать часов пополудни, он собственной персоной проехал в своей коляске через все городские заставы Берлина одновременно. Да-да, это могут засвидетельствовать более двадцати тысяч человек. Каждый из сторожей, охраняющих заставы, видел его в той же шляпе, в том же парике, в той же самой коляске, с тем же багажом, на тех же лошадях, и вам никогда не удастся разубедить их в том, что в этот день существовало пять или шесть живых Калиостро.

Рассказ понравился всем. Не смеялся только Фридрих. Он весьма серьезно интересовался успехами милого его сердцу разума, и проявления суеверия, доставлявшие столько пищи для остроумия и веселости Вольтеру, вызывали у него лишь возмущение и досаду.

— Вот он, народ! — вскричал король, пожимая плечами. — Ах, Вольтер, вот он, народ! И это в то самое время, когда живете вы, когда яркий свет вашего факела озаряет весь мир! Вас изгнали, подвергли преследованиям, с вами боролись всеми возможными способами, а Калиостро — стоит ему где-нибудь показаться, и все уже околдованы. Еще немного — и его будут носить на руках!

— А знаете ли вы, — спросил Ламеттри, — что самые знатные ваши дамы так же верят в Калиостро, как и добрые кумушки из простонародья? Да будет вам известно, что эту историю мне передала самая хорошенькая из ваших придворных дам.

— Держу пари, что это госпожа фон Клейст! — сказал король.

— «Ты сам ее назвал!» — продекламировал Ламеттри.

— Вот он уже на ты с королем, — проворчал Квинт Ицилий, за несколько минут до того вошедший в комнату.

— Милейшая фон Клейст совсем помешалась, — сказал Фридрих. — Она самая заядлая фантазерка, самая ярая поклонница гороскопов и волшебства... Надо проучить ее — пусть будет поосторожнее! Она сбивает с толку всех наших дам и, говорят, заразила своим помешательством даже собственного супруга: он приносит в жертву дьяволу черных козлов, чтобы разыскать сокровища, зарытые в бранденбургских песках.

— Но ведь все это считается у вас образцом самого хорошего тона, папаша Пантагрюэль, — сказал Ламеттри. — Неужели вам угодно, чтобы и женщины подчинились вашему угрюмому богу — Разуму? Женщины существуют, чтобы развлекаться и развлекать нас. Право же, в тот день, когда они потеряют свое безрассудство, мы сами окажемся в дураках! Госпожа фон Клейст очень мила, когда рассказывает о магах и чародеях. И щедро угощает ими Sorog Amalia...

— Что это еще за Sorog Amalia? — с удивлением спросил король.

— Да ваша благородная и прелестная сестра — аббатиса Кведлинбургская. Ни для кого не секрет, что она всем сердцем предана магии и...

— Замолчи, Панург! — прогремел король, стукнув табакеркой по столу.



### III

Наступило молчание, и часы медленно пробили полночь<sup>1</sup>. Обычно Вольтер, когда чело его дорогого Траяна омрачалось, умел искусно переменить разговор и сгладить неприятное впечатление, невольно отражавшееся и на остальных сотрапезниках. Однако в этот вечер Вольтер, печальный и больной, сам испытывал глухой отголосок того прусского сплина, который быстро овладевал всеми счастливыми смертными, призванными созерцать Фридриха в ореоле его славы. Как раз сегодня утром Ламеттри передал ему роковую фразу Фридриха, которой суждено было преобразить притворную дружбу этих двух выдающихся людей в весьма реальную вражду<sup>2</sup>. Поэтому он не сказал ни слова. «Пусть он выбрасывает кожуру Ламеттри, когда ему вздумается, — думал Вольтер. — Пусть сердится, пусть страдает, только бы поскорее кончился этот ужин. У меня резь в животе, и все его любезности не облегчат моей боли».

Итак, Фридриху волей-неволей пришлось сделать над собой усилие и обрести свое философское спокойствие без посторонней помощи.

— Раз уж зашла речь о Калиостро, — сказал он, — и только что пробил час, когда принято говорить о привидениях, я расскажу вам одну историю, и вы сами поймете, как следует относиться к искусству чародеев. Это приключение — чистая правда, ее рассказал мне тот самый человек, с которым оно произошло прошлым летом. Сегодняшний случай в театре напомнил мне о нем, и, быть может, этот случай имеет какую-то связь с тем, что вы сейчас услышите.

— А история будет страшная? — спросил Ламеттри.

— Возможно! — ответил король.

— Если так, я затворю дверь, что за моей спиной. Не выношу открытых дверей, когда говорят о привидениях и чудесах.

---

<sup>1</sup> Спектакли в Опере начинались и кончались раньше, чем в наши дни. Ужин Фридриха начинался в десять часов. (*Прим. автора.*)

<sup>2</sup> «Я еще держу его при себе, потому что он мне нужен. Через год он мне не понадобится, и тогда я избавлюсь от него. Я выжимаю апельсин, а потом выбрасываю кожуру». Известно, что эта фраза ранила самолюбие Вольтера. (*Прим. автора.*)

Ламеттри закрыл дверь, и король начал:

— Как вы знаете, Калиостро умел показывать легковверным людям картины или, вернее, своего рода волшебные зеркала, в которых по его желанию появлялись изображения отсутствующих людей. Он уверял, что застаёт этих людей врасплох и таким образом показывает их в самые сокровенные и самые интимные минуты их жизни. Ревнивые женщины ходили к нему, чтобы узнать о неверности мужей или любовников. Бывало и так, что любовники и мужья получали у него самые невероятные сведения о поведении некоторых дам, и, говорят, волшебное зеркало выдало множество тайных пороков. Так или иначе, но итальянские певцы оперного театра однажды вечером пригласили Калиостро на веселый ужин, сопровождаемый прекрасной музыкой, а взамен попросили его показать им несколько образчиков его искусства. Калиостро согласился и, назначив день, в свою очередь, пригласил к себе Порпорино, Кончолони, мадемуазель д'Аструа и мадемуазель Порпорину, обещая показать все, что им будет угодно. Семейство Барберини также было приглашено. Мадемуазель Жанна Барберини попросила показать ей покойного дожа Венеции, и, так как господин Калиостро весьма искусно воскрешает покойников, она увидела его, сильно перепугалась и в смятении вышла из темной комнаты, где чародей устроил ей свидание с призраком. Я сильно подозреваю, что мадемуазель Барберини любит «позубоскалить», как говорит Вольтер, и разыграла ужас нарочно, чтобы посмеяться над итальянскими актерами, которые вообще не отличаются храбростью и наотрез отказались подвергнуть себя подобному испытанию. Мадемуазель Порпорина со свойственным ей бесстрастным видом заявила господину Калиостро, что она уверует в его искусство, если он покажет ей человека, о котором она думает в настоящую минуту и которого ей незачем называть, поскольку чародей, должно быть, читает в ее душе, как в открытой книге. «То, о чем вы меня просите, нелегко, — ответил Калиостро, — но, кажется, я смогу удовлетворить ваше желание, если только вы дадите мне самую торжественную и страшную клятву, что не обратитесь к тому, кого я вам покажу, ни с одним словом и не сделаете, пока он будет перед вами, ни одного движения, ни одного жеста». Порпорина поклялась и вошла в темную

комнату с большой решительностью. Незачем напоминать вам, господа, что эта молодая особа обладает необыкновенной твердостью и прямою характера. Она хорошо образованна, здраво рассуждает о многих вещах, и у меня есть основания думать, что она не подвержена влиянию каких-либо ложных или узких взглядов. Порпорина так долго оставалась в комнате с призраками, что ее спутники удивились и встревожились. Все происходило, однако, в абсолютной тишине. Выйдя оттуда, она была очень бледна, и, говорят, слезы лились из ее глаз, но она тотчас же сказала товарищам: «Друзья мои, если господин Калиостро чародей, то это не настоящий чародей. Никогда не верьте тому, что он вам покажет». И не пожелала объяснить ничего более. Но несколько дней спустя Кончоллини рассказал мне на одном из моих концертов об этом вечере с чудесами, и я решил расспросить Порпорину, что и сделал, как только пригласил ее петь в Сан-Суси. Заставить ее говорить оказалось нелегко, но в конце концов она рассказала следующее:

«Без сомнения, Калиостро обладает необыкновенными способами вызывать призраки, и они до такой степени похожи на реальных лиц, что самые уравновешенные люди не могут не взволноваться. Но все-таки он не волшебник, и то, что он якобы прочитал в моей душе, было, я уверена, основано на его осведомленности о некоторых обстоятельствах моей жизни. Однако эта осведомленность была неполной, и я бы не посоветовала вам, государь, — это все еще слова Порпорины, — пояснить король, — назначать его министром вашей полиции, ибо он мог бы наделать немало оплошностей. Ведь когда я попросила его показать мне одного отсутствующего человека, я имела в виду маэстро Порпору, моего учителя музыки — сейчас он в Вене, — а вместо него я увидела в волшебной комнате одного дорогого мне друга, скончавшегося в этом году.

— Черт подери! — произнес д'Аржанс, — пожалуй, это будет труднее, чем показать живого!

— Подождите, господа. Калиостро, имевший неточные сведения, даже не подозревал, что человек, которого он показал мадемуазель Порпорине, умер. После того как призрак исчез, он спросил у певицы, довольна ли она тем, что увидела. «Прежде всего, сударь, — ответила

она, — я хотела бы понять, что это было. Объясните мне, прошу вас». — «Это не в моей власти, — ответил Калиостро. — Вы узнали, что ваш друг спокоен и что труд его приносит пользу, — этого довольно». — «Увы! — возразила синьора Порпорина. — Сами того не зная, вы причинили мне большое горе — вы показали человека, которого я не могла надеяться увидеть, и выдаете его за живого, меж тем как я сама закрыла ему глаза полгода назад».

Вот, господа, — продолжал Фридрих, — как обманываются эти чародеи, желая обмануть других, и как разрушаются их хитроумные планы из-за какой-нибудь пружинки, которой нет в механизме их тайной полиции. Правда, до известного предела они проникают в семейные тайны, в секреты личных привязанностей, и так как все человеческие судьбы более или менее сходны, а люди, склонные верить в чудеса, как правило, не слишком придирчивы, то из тридцати раз чародеи угадывают двадцать; и хотя в десяти случаях из тридцати они ошибаются, на это никто не обращает внимания, тогда как об удачных опытах громко кричат на всех перекрестках. То же происходит и с гороскопами. Вам предсказывают целый ряд самых обыденных вещей, таких, какие неизбежно случаются со всеми людьми: например, путешествие, болезнь, потерю друга или родственника, получение наследства, какую-нибудь встречу, интересное письмо и другие самые заурядные события человеческой жизни. Но вдумайтесь, на какие катастрофы, на какие горести обрекают людей слабых и впечатлительных ложные откровения такого Калиостро! Поверив ему, муж убьет ни в чем не повинную жену; мать, которой покажут, как где-то вдали умирает ее отсутствующий сын, сойдет с ума от горя, а сколько других несчастий причиняет лженаука этих мнимых прорицателей! Все это гнусно, и вы должны признать, что я правильно поступил, изгнав из своего государства этого Калиостро, который угадывает так верно и передает такие добрые вести о здоровье людей, умерших и преданных земле.

— Допустим, — возразил Ламеттри, — но все это не объясняет, каким образом *Порпорина вашего величества* увидела своего мертвеца здоровым и невредимым. Ведь если она обладает такой твердостью и таким благоразу-

мием, как утверждает ваше величество, то это противоречит доводам вашего величества. Правда, волшебник ошибся, вытащив из своей кладовой мертвеца вместо живого, который ей понадобился, но это еще больше убеждает в том, что он располагает жизнью и смертью, и тут он сильнее вашего величества, ибо, не в обиду будь сказано вашему величеству, вы повелели убить на войне множество людей, но не смогли воскресить хотя бы одного из них.

— Так, стало быть, мы будем верить в дьявола, дорогой мой *подданный*?— спросил король, смеясь над уморительными взглядами, которые бросал Ламеттри на Квинта Ицилия всякий раз, как торжественно произносил титул короля.

— Почему бы нам и не уверовать в этого беднягу — Сатану? На него столько клеветуют, а он так умен! — отпаривал Ламеттри.

— В огонь манихей! — сказал Вольтер, поднося свечу к парiku молодого доктора.

— И все же, великолепный Фриц, — продолжал тот, — я представил вам неоспоримый довод: либо прелестная Порпорина безрассудна, легковерна и видела своего мертвеца, либо она философ и не видела ровно ничего. Но ведь все-таки она испугалась? Она сама призналась в этом?

— Она не испугалась, — ответил король, — она огорчилась, как огорчился бы всякий при виде портрета, в точности воспроизводящего любимое существо, которое уже невозможно когда-либо увидеть. Но если говорить начистоту, то я думаю, что она испугалась уже после, задним числом, и что, выйдя из этого испытания, она утратила частицу своего обычного душевного спокойствия. С тех пор на нее находят приступы черной меланхолии, а это всегда является признаком слабости или нервного расстройства. Я убежден, что ум ее потрясен, хоть она и отрицает это. Нельзя безнаказанно играть с обманом. Обморок, который случился с ней нынче вечером, является, по-моему, следствием всей этой истории. И я готов держать пари, что в ее помраченном мозгу затаился смутный страх перед чудодейственным мастерством, которое приписывают Сен-Жермену. Мне сказали, что, вернувшись из театра домой, она не перестает плакать.

## СОДЕРЖАНИЕ

ГРАФИНЯ РУДОЛЬШТАДТ. Роман . . . . .	5
Комментарии. <i>Г. Соловьева</i> . . . . .	552

**Санд Ж.**

С 18 Графиня Рудольштадт : роман / Жорж Санд ; пер. с фр. А. Бекетовой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 576 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-04216-2

«Графиня Рудольштадт» является продолжением «Консуэло», одного из лучших романов Жорж Санд. В основе повествования — мотивы трагического столкновения артиста и общества, нелегкого выбора между карьерой, успехом и тихой семейной заводью. Прототипом героини романа, как известно, послужила знаменитая французская певица Полина Виардо, бывшая музой И. С. Тургенева. Таинственная мистическая атмосфера книги, тема тайных обществ и оккультизма оттеняют основную линию романа, связанную с образом певицы Консуэло и ее мужа графа Альберта Рудольштадта, обретающих счастье в служении людям.

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44

Литературно-художественное издание

ЖОРЖ САНД

## ГРАФИНЯ РУДОЛЬШТАДТ

Ответственная за выпуск Галина Соловьева  
Художественный редактор Валерий Гореликов  
Технический редактор Татьяна Тихомирова  
Компьютерная верстка Алексея Соколова  
Корректоры Валерий Камендо, Елена Орлова  
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 12.07.2017.  
Формат издания 75 × 100<sup>1/32</sup>. Печать офсетная.  
Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 25,38.  
Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —  
обладатель товарного знака АЗБУКА®  
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4  
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
в Санкт-Петербурге  
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А  
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»  
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)  
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»  
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93  
[www.oaompk.ru](http://www.oaompk.ru), [www.oaompk.ru](http://www.oaompk.ru)  
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685



Y-AKB-10662-03-R



ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

[www.azbooka.ru](http://www.azbooka.ru),

[www.atticus-group.ru](http://www.atticus-group.ru)

Информация по вопросам приема рукописей

и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

[www.azbooka.ru/new\\_authors/](http://www.azbooka.ru/new_authors/)